

Петр Боборыкин

Поумнел



Петр Боборыкин
Поумнел

«Public Domain»

1890

Боборыкин П. Д.

Поумнел / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1890

© Боборыкин П. Д., 1890

© Public Domain, 1890

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

24

Петр Дмитриевич Боборыкин

Поумнел

Повесть

I

На Рыбной улице, там, где перекресток поднимается немного на изволок, против церкви Алексея Митрополита, протянулся деревянный одноэтажный дом и по улице, и по Зыбину переулку, идущему под гору, к кузницам и к задам запущенного, когда-то роскошного барского сада князей Токмач-Пересветовых.

Дом выкрашен в сизо-розовую краску, еще часто попадающуюся в губернских городах. Красили его уже давно, и кое-где, вдоль стен, краска отколупилась, и старое побурелое дерево выглядывало наружу. Окон теснилось много, штук до десяти, вдоль уличного фаса, все с зелеными ставнями и лепными украшениями фриз на старо-дворянский манер.

Подъезд был, однако, приделан уже позднее, когда пошла мода на подъезды с улицы, – прежнее крыльцо с длинным вырезанным навесом помещалось на дворе, с переулка.

Снежок покручивал по перекрестку часу в четвертом после обеда. Только что ударили к вечерне. Тут же, на перекрестке, стояло несколько извозчиков: двое местных лихачей, на резных санках, с толстогрудыми битюгами, без полостей, сами нарядно одетые, и "Ванька" в кафтане из мужицкой дерюги. Его пошевни, низенькие, лубочные, покрывал коврик из суконных покромок, внутри лежало сенцо.

Ездоков не видать что-то еще было ниоткуда, ни со стороны площади, где стоял суд, ни от спуска по переулку, где издали белели полные инея липы и клены барского запущенного сада.

Ванька поднял высокий воротник своего кафтана, надетого поверх полушубка, и морщился от снега, попадавшего ему на щеку. Те двое лихачей с ним не знали и, когда он тут остановился, только переглянулись между собою на особый лад: "вот, мол, пожаловала ворона на первую в городе биржу".

Один – толстый, затянутый кушаком с набором из серебра с чернью, в котиковой шапке – перевел голубыми вожжами и выговорил тоном зажиточного мещанина, знающего хороших господ:

– Александр Ильич из правления покатит, поди, вскоре?

– Не раньше как в исходе четвертого.

Другой извозчик смотрел еще очень молодым парнем. Курчавый и веснушчатый, он ушел головой в триковый ваточный картуз; из-под стоячего воротника синего кафтана выглядывала розовая рубашка. Шарфа он не носил.

– Да он и всегда сидит по правилу, а седни у них день особенный, суббота, больше народу бывает.

– Это точно, – подтвердил толстый лихач.

Они помолчали. Слышно было только похрапывание одной лошади, серой в яблоках, норовившей достать языком свою товарку, бурую... Лошади были в дружбе, хотя и стояли на разных дворах.

– Балуйся! – дал на нее окрик молодой парень. – Мерин несуразный!

И он ударил вожжой по широкому крупу своего серого.

Опять они помолчали. Толстый глядел в ту сторону, где стояло здание присутственных мест. К вечерне отблагостили. С последним ударом он вдруг почему-то перекрестился, приподнял котиковую шапку и показал свой череп, совсем лысый, белый, с маленькою прядью тем-

ных волос наперед, череп умного плута дворника, круглый и с выпуклостями лобной кости. От него пошел сейчас же легкий пар.

– Господи Иисусе Христе! – чуть слышно выговорил лихач.

Молодой парень покосился на него и спросил:

– Папиросочки не соблаговолите, Ефим Иванович?

Он говорил толстому "вы", а тот ему "ты".

– Нешто я курю?.. Ишь, что выдумал! – брезгливо и с усмешкой сказал Ефим.

– Ужли на старую веру повернули?

– Мели еще!

Ванька в мужицком кафтане начал прислушиваться к их разговору. Его пошевни стояли поодаль от саней молодого парня. На эту биржу заехал он покормить лошадь и уже подвязал ей торбу... Он замечал, что лихачи на него косятся, и уехал бы, да надо было дать лошаденке пожевать овсеца.

Извозничал он в губернском городе первую зиму, был из соседнего уезда, городские порядки еще мало знал, и выручки у него не спорились. Только на чугунку да с чугунки привозилось довести путевого седока, а так, по городу, целыми часами никого или за самую нищенскую цену. Особенно барыни! Те и на вокзал норовят за гривенник доехать; да гривенник еще ничего, а то восемь, семь копеек.

Вот сейчас он конец сделал, порядочный кончик, за четыре копейки. Тоже в салопе, старушка.

Идет да кричит:

– Ванька, хочешь две семитки?

Он было совестить ее начал. Она идет себе, палочкой постукивает по тротуару. И он за ней по улице плетется.

Посадил!

Мужик он тихий, немолодой, подслеповатый, немножко хворый. Кабы не выдалась осень такая – сына угнали, да другого женить пришлось, да неурожай льну – их главный промысел, он бы не поехал в город... Думал: "прокормлюсь, подать привезу".

Но рубля в день он не наколачивал. Не то что те двое лихачей. Каждый из них либо два с полтиной, либо три и три с четвертаком привезет. Толстый-то сам хозяйствует, а молодой – работник, так тот из выручки себе откинет не меньше двух двугривенных.

Положение такое: двадцать копеек конец по городу, на чугунку – тридцать, с багажом – сорок. Так ему, Ваньке, никто этой "такции" не даст, а чуть заикнется – на смех поднимают:

– Ну, ты гужеед желтоглазый, туда же – такция! Когда и при городском на вокзале – и городской смеется.

А те двое за таксу не двинутся. На них все такие господа ездят, без ряда. И всегда выше таксы отвалят.

Так перебирал про себя деревенский, поглядывал больше на обоих лихачей, чем на прохожих. Ему было тут жутко, да и зябнуть он начал в плоховатом полушубке и в старых, невысоких валенках.

И толстый извозчик, Ефим, думал почти в том же роде. Стоял и он без дела больше часу и спрашивал себя: прогадал он или нет тем, что от гостиницы отъехал?.. По утрам, после чугунки, он там стоял. Гришка – молодой парень – тоже. У них у обоих один и тот же круг езды, только Ефима выбирал народ постепеннее.

От гостиницы они уехали потому, что ничего стоящего там не было. И там простояли зря. Время тугое. Проезд средний, больше мелкий купец. Помещики съезжаться начнут позднее, недели через три. К святкам подойдут и выборы.

Ефим ездит около тридцати лет, и вся жизнь губернского города уложилась у него в голове, и знает он ее так, как никакому полицейскому не знать.

Вот длинный розовый дом. Пареньком помнит он его серым, и въезжали в ворота, к крыльцу с навесом. Предводителей он был. Так из рода в род. Сначала отец, потом сын. Жили широко, приемы, вечера, игра большая. И все расплзлось... От фамилии звания нет, в уезде где-то никак одна дочь замужем. Дом продали... Много годов жил пароходчик, из разночинцев какой-то, в гору шел, завод железный завел, потом перебрался в столицу. В розовом доме после него контора была. Да и весь город к тому времени из помещичьего стал на деловой купеческий лад: конторы пошли, банки, склады. Однако от этого езды хорошей не прибавилось. Господ мало. Если б не судейские да не инженеры, не с кем и рассчитывать на хорошую выручку. Ну, налетит из Москвы адвокат, тороватый, особливо коли охотник до теплых мест... Так для этого есть вон "лодыри", вроде Гришки... И каждый раз, когда Гришка ему рассказывает, где он с заезжим седоком побывал, Ефим непременно скажет:

– Охальники!.. Как есть охальники!

Все посжалось. И губернатора-то не признаешь, не будь он генерал: так себе старик, живет один, лошадей держит пару, плохоньких, часто извозчика берет... Его губернатор зовет по имени-отчеству.

Вообще, господ настоящих, с вотчинами, коренных, – один, другой, да и обчелся.

Ефим доволен хоть тем, что в розовом доме опять живет барин как следует, уже третий год, хотя и этот барин занимается не дворянским делом, не предводителем служит, а в правлении частного общества.

Про него-то они сейчас и говорили с Гришкой.

II

– Ефим Иваныч! – окликнул Гришка. – Вот и Гаярин катит на вороной из правления.

– Кто? – переспросил Ефим, смотревший в другую сторону.

– Александр Ильич Гаярин, говорю, на вороной... Лошадка-то резвая, с побезжкой. Чьего она будет завода?

– Должно быть, собственного.

– А нешто у них свой завод?

– Завод, в жениной вотчине, в дальней округе, там луга...

– Сама-то из богатеньких... Как, бишь, ее?..

– Антонина Сергеевна... Известно, из богатеньких... Не беднее его... И рода княжеского... Мать-то ее, Елена Павловна... Я и ту помню...

– Тех вон?.. Пересветовых?

Гришка указал глазами по направлению к Зыбину переулку, откуда, из-под изволока, виднелась верхушка большого сада.

– Известно... Князь-то приходится ей дядей, только вряд ли родным.

Ванька с самого начала этого разговора стал прислушиваться, чего лихачи не замечали.

Лошадка его поела. Он снял торбу и пододвинулся к Гришке.

– Вы про какова барина баете? – спросил он жиденьким, чисто крестьянским тенорком.

Гришка не сразу ему ответил и сначала переглянулся с Ефимом.

– Ты чего гоношишь?

– Про барина, мол, какова...

Сани с полостью, на вороном рысаке, уже поравнялись с дальним углом розового дома. В санях видна была фигура барина, в ильковой шубе и бобровой шапке-боярке.

– А тебе что? – спросил через Гришку Ефим и повел, на особый манер, своими толстыми властными губами.

– Про Гаярина баяли!.. Коли это Александр Ильич... то мы его довольно знаем. Мы завьяловские... барыни... супруги их, значит... От папеньки вотчина досталась. И ее знаем... Еще когда маленькая была... по летам-то у нас больше живали... Вот мне про кого!..

– Ишь ты! – насмешливо выговорил Гришка и стал глядеть вбок на Ваньку. – А ты, дяденька, нам отрапортуй: правда ли, что Александр Ильич, как еще молоденький был, чем там ни на есть проштрафился в Питере и как, ровно слышали мы, под присмотром жил у себя в вотчине?.. Еще перед тем, как ему жениться...

Мужичок не сразу ответил.

Сани уже подкатили к подъезду, и барин в ильковой шубе быстро поднялся на крыльцо, обернулся лицом к кучеру, что-то сказал ему и позвонил.

– Он, он и есть, – выговорил Ванька, прищурившись вдаль. – Немного и постарел-то...

– Так как же, дяденька, – расспрашивал Гришка, – враки это все или такое с ним истинно попритчилось?

Ефим тихо улыбался, повернув голову в их сторону, но сам в разговор не вступал. И он слышал кое-что в таком роде про Гаярина, но не любил зря болтать.

– Это точно, – выговорил Ванька и забавно потрянул головой.

В нем виден был большой добряк, и он только смотрел "михрюткой", а в его подслеповатых глазах проглядывала смекалка и даже юмор.

– Надо так сказать, это верно, – продолжал он уже гораздо посвободнее. – Вотчина-то дальняя, его, значит, собственная, поблизости от нашей... Красный Плес прозывается... Приехал он в те поры млад-младешенок... баяли, вместо наказания его туда отправили из Питера. И спервоначалу чудил, паря...

– А что? – смешливо спрашивал Гришка.

– Да по-мужицки одеваться учал, и как следует – рубаха, портки... Чуть сенокос али жнитво – ремешок на голову взденет и пошел сам косою отмахивать. Однако жив этом его ограничили... Потому присмотр был строгий.

– Вот оно что, – как бы про себя вымолвил Ефим, не проронивший ни слова.

– Строгий... – протянул Ванька, – то и дело исправник наезжал.

– Значит, и до мужиков был хорош?

– Известное дело, паря, коли сам таким манером...

– Ну, теперь, любезный друг, косить не пойдет в ремешке, – выговорил вполголоса Ефим и поглядел на одно из окон розового дома.

– Извозчик! – сзади из переулка раздался крик и так внезапно, что даже Ефим вздрогнул. Оба лихача враз ударили вожжами и покатали вперебивку на зов.

Ванька так и остался с недоконченным рассказом про барина, жившего в розовом доме.

Барин нашел в передней, кроме двоих лакеев во фраках при белых галстуках, еще какого-то малого, вроде посыльного или артельщика.

Пока один человек снимал с него легкую, очень дорогую ильковую шубку, другой доложил тоном дрессированного лакея, что нынче редкость, особенно в провинции:

– Из правления, с депешей, Александр Ильич... Сейчас принесли.

– После меня принесли? – спросил барин и, не снимая шапки, поглядел на адрес телеграммы и вскрыл ее тут же.

На его лице, бледном, очень тонком, с красиво подстриженной черною бородою, разделенною на две пряди, и в темно-серых острых глазах не выразилось ничего: ни досады, ни беспокойства. Только на белом, высоком, но сдавленном лбу, где плоские, лоснящиеся волосы лежали еще густою прядью, чуть заметно обозначилась одна линия, над самым носом, крепким, несколько хрящеватым, породистым. Усы он поднимал над волосами бороды, и концы их немного торчали.

– Хорошо, скажи там, что я вечером дам ответ.

– Слушаю-с, – выговорил артельщик и поклонился быстрым наклоном головы, характерным жестом местных мещан и купцов.

В дверях залы Александр Ильич остановился, поглядел вбок и назад и спросил:

– Антонина Сергеевна у себя?

– У себя-с, – ответили разом оба лакея.

– Никого нет на той половине?

– Никого нет-с.

Он прошел из залы, какие еще сохранились в губернских городах, сейчас же налево, в дверку, спустился две ступеньки и через темный коридорчик попал в свое отделение – две обширные комнаты, ниже остальной части дома, выходившие окнами в сад.

Прежде, когда дом принадлежал Порфирьевым, бывшим из рода в род предводителями, целых семь или восемь трехлетий, это были "детские".

И к ним вели ступеньки в ту и другую комнату. Первую Александр Ильич отделал себе под кабинет. По некоторым подробностям можно было распознать покой старинного помещичьего дома: по косякам окон и дверей, по притолкам и потолкам и по тому, как стоят печи. В кабинете уже недавно устроили камин из темного северного мрамора; в спальне – угловой, с четырьмя окнами – печь, в изразцах, занимала добрую четверть всего пространства. Там нарочно было мало мебели, для воздуха, обои светлые, на окнах короткие драпировки, по полу натянута зеленое сукно, кровать железная, узкая, с байковым одеялом, на стене собрание ружей, два шкапа, кушетка, обширный умывальный стол с педалью и туалетный со множеством разных щеток и щеточек. По стенам – гравюры, старинные, английские, с кирпичным оттенком краски, перевезенные сюда из усадьбы, как и все почти остальные вещи.

Кабинет смотрел уже совсем по-новому: тяжелые гардины, мебель, крытая шагреновою кожей, с большими монограммами на спинках, книжный шкаф резного дуба, обширное бюро, курильный столик, много книг и альбомов на отдельном столе, лампы, бронза, две-три масляные картины с рефлекторами и в углу – токарный станок.

Вся эта комната была устлана восточными коврами, и в ней звук шагов совершенно пропадал. Запах дорогих сигар и каких-то тонких духов, доходивший из спальни, куда вела стеклянная низкая дверь, подходил к убранству этого не очень высокого, но поместительного покоя, драпированного, по-заграничному, темно-красным сукном.

В кабинете Гаярин подошел к бюро, выдвинул один из ящичков и положил в него депешу. На письменном столе и по всей комнате замечался порядок, редко бывающий у самых аккуратных русских. Каждая вещь лежала и стояла на своем месте, но без жесткости и педантизма, как будто даже с некоторою небрежностью, но над всем был неизменный надзор острых, темно-серых глаз хозяина.

Неслышными шагами прошел он в спальню. Перед обедом он, по-аглички, менял туалет и одевался один, без прислуги.

III

На другом конце дома, в угловой комнате – по-старинному «диванная», – разделенной пополам перегородкою с драпировками, у маленького письменного столика сидела и дописывала письмо, в полутемноте, не зажигая свечи, жена Александра Ильича Гаярина, Антонина Сергеевна.

В ее будуаре, за перегородкой, помещалась постель, все смотрело скромно и немножко суховато: старинная мебель, белого дерева, перевезенная также из родовой усадьбы, обитая ситцем с крупными разводами, занавески из такого же ситца, люстра той же эпохи, белая, с позолотой, деревянная, в виде лебедя, обои и шкафчик с книгами, экран и портреты, больше

фотографии по стенам и на письменном бюро. Никаких ненужностей и никакой склонности к новому жанру: превращать свои комнаты не то в музеи, не то в аукционные залы.

Между отделкой этой бывшей диванной и личностью женщины чувствовалось соотношение. Ни в ней, ни на ней не было ничего ненужного, с претензией, крикливого... Наружность Антонины Сергеевны в зимних сумерках выходила полутонами. Пепельные волосы уже седели, но казались как бы напудренными, очень просто, совсем не по моде, зачесанные за уши, с маленькой косой, прикрытой черным кружевом. Никаких золотых вещей, ни серег, ни браслет; худенький, узкий в плечах корсаж светло-серого, хорошо сшитого платья, со стоячим воротником; рост средний, худые тонкие руки и на правой руке одно только обручальное кольцо.

Голову она, по близорукости, низко наклоняла над листком бумаги и водила стальным пером быстро-быстро. Щеки ее, кверху, под веками, слегка покраснели. Обыкновенно лицо было бескровное, желтоватое, с чертами утомления, вдоль носа, которому вырез ноздрей, неправильный, но своеобразный, придавал несомненную пленительность. Промежуток между носом и верхней губой удлинённый, с резким желобком, и когда она говорила, эта особенность усиливала выражение больших, совсем темных глаз, очень молодых по игре и цвету. Зубы не успели еще пожелтеть – небольшие и блестящие, белизны цельного молока.

От всей фигуры этой почти сорокалетней женщины – ей пошел уже тридцать восьмой – отделялся неуловимый запах необычайной чистоплотности, редкий даже у наших светских женщин, и что-то нетронутое, целомудренное и действительно скромное проявляли ее жесты, обороты головы, движение пишущей руки и поза, в какой она сидела.

Письмо было дописано. Она его не стала перечитывать, ей не хотелось еще звонить, чтобы зажгли лампу, не хотелось зажигать свечей на своем столе; она любила эти зимние сумерки в ясные дни, с полосой ярко-пурпурного заката, видной из ее окон, в сторону переулка, позади извозчичьей биржи.

Она заклеила конверт и выпрямилась, не глядя на то, что написала, поставила адрес и прошлась по комнате.

В простенке висело узкое зеркало в раме, обитой тем же ситцем. Она мельком взглянула в него, не нужно ли ей причесаться, прилично ли все на голове.

Если "прилично", больше ей не нужно. Она не любила и не желала "рядиться" ни для себя, ни для других. Одевалась она хорошо, выписывала свои туалеты из Москвы, кое-что делала здесь. Но заказы ее сводились к трем зимним и трем летним платьям неизменно. На балы она не ездила.

Для приемов, к обеду и вечеру, она любила светлосерый туалет, бывший на ней и сегодня.

По звонку и шагам через залу она подумала о муже. Он прошел к себе и переодевается. Может быть, он найдет, что она слишком просто одета.

Ничего! Платье от Шумской, и носит она его всего с прошлого поста... Но ей представилось, когда она отошла от зеркала, бледное, красивое и значительное лицо ее мужа и его темно-серые глаза с известным ей выражением внутреннего контроля.

Под этим взглядом она постоянно чувствует себя неловко. До сих пор, по прошествии шестнадцати лет замужества, еще не умерло в ней чувство влюбленности.

Она не хочет и в таких пустяках противоречить тому, что он считает приличным, обязательным для жены такого человека, как он.

!!!!!"Il faut se devoir à sa position" ¹, – приходит ей на ум его фраза.

Прежде он подобных фраз не употреблял, там, в деревне, в первые годы их супружества.

Будет обедать губернатор. Он простой старик, умный, без всяких претензий. Кто еще обедает, она не знает. Александр Ильич вскользь сказал ей:

– У нас сегодня гости, к обеду.

¹ Положение обязывает (фр.).

Распоряжается столом он, а не она, заказывает, и даже любит это, повару Василию, их деревенскому, и отдает приказания старшему лакею, Левонтию, исправляющему должность дворецкого.

От всех этих забот она не отказывалась, но муж давно уже начал заниматься и домовым хозяйством, еще в деревне. Она стала болезненна, после того как сама выкормила детей, и сына Сережу, и дочь Лили. Вести хозяйство было ей иногда в тягость. Он это заметил и устранил ее.

Теперь, в городе, с того времени, как она осталась без детей, досугу у ней очень много... Она рада была бы войти в хозяйство, но так уж заведено, а Александр Ильич не любит, чтобы менялось то, что раз заведено. С этою чертой его характера, и не с нею одной, бороться трудно, да она и не желает.

В нем, с годами, развилась особого рода уклончивость, он избегает всякого повода к столкновению с ней, даже в пустяках... А хозяйство всегда дает к этому повод... Все идет в доме по часам, без малейшей зацепки, во всем чувствуется его властная рука, его ум, забота, такт, выбор.

В доме она точно почетная жилица или начальница какого-нибудь важного учреждения, которая не входит в мелочи хозяйства... И досуг начинает тяготить ее. Ее тянет в Петербург, к детям. В конце зимы она поедет, но раньше Александру Ильичу это не понравится. Он говорит, что детей надо оставлять одних, в их заведениях, одного в лицее, другую в институте, не волновать их постоянными свиданиями, иначе они не научатся никогда "стоять на своих ногах".

Прежде, когда они были еще маленькие, и речи никогда не заходило о том, чтобы отдать их в привилегированные заведения, особенно сына в лицей, в тот лицей, где отец сам учился и откуда вынес самое недружелюбное отношение к таким "местам систематической порчи", – так он тогда выражался... И об институтах он не иначе говорил как с насмешкой.

А когда подошел им возраст "готовиться", явились на очередь и "лицей" и "институт". Она, впервые, сильно протестовала и не отстояла своего протеста. Это желание отца было первым признаком того, что прежний Гаярин, тот человек, в которого она уверовала девушкой, чьею женой стала после тяжелой борьбы, уже покачнулся.

Внутри она близка к убеждению, что это так, но ничего не может схватить резкого, крупного, такого, чтобы нельзя уже было ему не сознаться...

В чем?

Вот этого-то слова она сама и не произносит... Ей жутко, хоть она и готова становиться на его место, желает выгораживать его перед собою, перед той Антониной Сергеевной, на суд которой он когда-то любил отдавать свои мысли, чувства, упования, поступки.

И в деле воспитания детей вышло так, что он, не прибегая к спорам и окрикам, без грубого противоречия с тем, что говорил когда-то вслух, приводил при ней разные соображения и делал это исподволь долго, целый год.

Вышло так, что Сережа попал в подготовительное училище, а Лили в тот же год отвезена была в Смольный, – разумеется, в дворянское отделение, а не в Елизаветинское.

Сейчас она писала о детях кузине, княгине Мухояровой, лучшему своему другу. Сестра ее живет тоже в Петербурге, но с ней она никогда не была дружна. Она даже не очень любит, чтобы Сережа ходил к тетке по воскресеньям на целый день.

Но и в кузине, в том, как она живет, каков у ней круг знакомых, что читает, во всем этом уже больше двух лет замечает она перемену, хотя и не совсем в таком же роде, как в своем муже.

И эти думы все чаще и чаще захватывают ее по нескольку раз на дню.

Вот и теперь она так задумалась посредине комнаты, что даже с удивлением увидала, как сгустились сумерки.

Она сама зажгла свечи на письменном столе и позвонила.

Все-таки лучше было узнать, на сколько приборов накрывают, – обедали они в зале, – и спросить у Александра Ильича, можно ли ей остаться в том же платье? Она узнает и то, кончил ли он переодеваться. К нему она не входит в спальню, когда он занимается своим туалетом, да и в кабинете не любит ему мешать неожиданным приходом.

Прежде это было иначе, совсем иначе.

IV

Туалет Александра Ильича Гаярина подходил к концу. Он охотно надел бы сегодня фрак, но в губернском городе это может показаться ненужною претензией. Губернатор – человек, не любящий никакой парадности, явится, наверное, в сюртуке с погонами, а не в эполетах. Другой гость – приезжий, правда, много живший и в Петербурге и за границей, но знает губернские порядки и во фраке не явится.

Английский обычай – обязательность парадного туалета для мужчин и женщин – считает он и красивым, и самым порядочным. Надо же поднимать чем-нибудь будничный строй жизни, особенно в России, в провинции, где все за последние двадцать лет так опустилось, впало в такую распущенность, дошло до полного отсутствия всякого декораума, при грубом франтовстве разночинцев.

В спальне, сидя уже одетым перед туалетным зеркалом, Александр Ильич медленно расчесывал бороду, разделяя ее на две большие пряди. Даже и при таких занятиях он не мог не думать... Фатовства в нем не было. Он видел в зеркале красивое лицо мужчины с тонким профилем, еще молодое, способное произвести впечатление не на одну женщину...

Но о женщинах он всего меньше думал. Если его потянуло из деревни, то уж, конечно, не за тем, чтобы искать здесь нетрудной интриги с какою-нибудь местною дамой... Иметь в числе знакомых тонко воспитанную женщину для "чашки чая" по вечерам было бы приятно, но такая "чашка чая" что-то не представлялась. Довольствоваться кое-чем он не хотел. Это значило бы искать связи, показывать, что ему скучно дома, что он удовлетворяется первою попавшеюся губернской барынькой, что он вульгарный развратник.

От всего этого он далек, и ему не трудно будет сохранить свою теперешнюю репутацию человека чистого по этой части. Он отлично видит, что здесь, во всем городе, нет мужчины интереснее его, значительнее, с большими правами на всякого рода успехи. За ним уже волочились, да и теперь две-три "*gommeuses du cru*" ², так он их называет про себя, готовы были бы сойтись с ним.

К чему?

Свое чувство к жене Александр Ильич уже давно не разбирает. Он не может не видеть, что Антонина Сергеевна еще не остыла. Для нее он все еще тот же властитель ее дум, за которым она пошла без колебаний, сумела отстоять свой выбор.

Тогда она привлекла его милым, неправильным лицом, лаской глаз, задушевностью своего теплого голоса и еще больше трогательным преклонением перед его личностью, перед всем, что было в нем и что исходило от него. Ни тогда, ни теперь он не хотел заглянуть поглубже в душу этой женщины и распознать: полно, одно ли влечение к блестящему мужчине решило ее судьбу, а не другое что, не то, чем он был в ту пору? В голове, а не в сердце Гаярина смутно всплывать этот вопрос стал уже гораздо позднее, здесь, когда ему надо было во многом если не переделывать Антонину Сергеевну, то доводить ее до согласия.

И во всем он до сих пор успевал.

² местные щеголихи (*фр.*).

Он не помнит, чтобы когда-нибудь у них доходило до крупного спора, до сцены, до раз-молвки. Да он и не позволил бы себе действовать круто, выказывать право на авторитет мужа. Это хорошо для невоспитанных и неумных людей.

Его совесть не давала и не дает ему поводов смущаться и укорять себя.

В нем происходит естественный ход развития сильной и своеобразной личности, который на философском языке называется "эволюцией".

Недаром Герберт Спенсер был когда-то его любимым мыслителем. И он может не без гордости сказать, что хорошо его штудировал даже в подлиннике. Теперь у него нет столько времени, чтобы перечитывать, с карандашом в руках и книжкой заметок, своих любимых авто-ров, как бывало в деревне, лет пятнадцать тому назад; но ему кажется, что именно в книгах этого британца он и нашел бы объяснение и оправдание всему, что исподволь стало проситься наружу и отводить его все больше и больше от прежней программы жизни.

Антонина Сергеевна осталась – он это видит слишком ясно – все тою же экзальтирован-ною барышней, из семьи, набитой чванством. Дочь барыни, которая до сих пор на визитных карточках неизменно ставит во второй строке "рожденная княжна Токмач-Пересветова", крот-кая, сдержанная, "нутряная" девушка носила в себе, до встречи с ним, запретный плод вели-кодушных, "красных", по-тогдашнему, идей, порываний и сочувствий. И года, дети, напор и потравы жизни не настолько ее придавили, чтобы голова перестала возбуждаться на прежние темы, именно голова, а не сердце; так он рассуждал уже давно, хотя вслух и в особенности в резкой форме еще никогда не говорил ей и с глазу на глаз.

Разумеется, голова! У сердца есть всегда довольно пищи. Она – мать, она – член обще-ства, жена почетной особы в городе, может выбирать себе какую угодно отрасль благотвори-тельности. Детей, правда, уже нет при ней, и за их отдачу в заведение стоял он; но это временно: да вдобавок она к ним ездит, их берут на зимние и летние вакации. Как женщина передовых идей, – Александр Ильич слово "передовой" произносил про себя с легкою усмешкой, – она должна же понимать, что любовь к детям для себя есть не "альтруизм", а чистейшее себялюбие, что детей только испортишь, держа при себе слишком долго, под давлением чересчур высокой температуры материнских забот, страхов, волнений и пристрастий.

Кажется, она все это и уразумела, наконец... По крайней мере, она уже не возвращается с некоторого времени к этой чувствительной теме.

Да, он развивался и развивается, а она – все на том же конце шестидесятых годов. Когда он думает с прибавкою метких французских фраз, он называет это: "ankylosée dans les idées d'il y a vingt ans" ³.

Иначе и быть не может. Мужчина – сила активная. Женщина – сила воспринимающая, пассивно пластическая. Какою ее замесят, такую она и остается всю жизнь: святошей, тщеслав-ной бабенкой, чванною дворянкой, нигилисткой, простою самкой.

На этом законе природы Александр Ильич все крепче и крепче утверждался, и как раз в ту минуту, когда его белая, немного сухая рука провела в последний раз серебряною щеткой по волосам, мозг его дал заключительный аккорд его неторопливым мыслям.

Он знал вперед, что Антонина Сергеевна выйдет к гостям одетой не так, как бы он хотел. Но это она изменит – не нынче, так завтра, с новою переменной его положения. Об этой пере-мене он не мечтал, как мелкий честолюбец. Предстоящие выборы непременно принесут с собой очередной вопрос о самом достойном кандидате в губернские предводители.

Самый достойный, конечно, он. Над ним уже не тяготеет прежняя опека. Выбор его в первые местные сановники по сословному представительству будет означать, что он теперь совсем чист в мнении высших сфер.

³ застывшая в своих идеях двадцатилетней давности (фр.).

И все это сделалось исподволь, без скачков, без всяких интриг, без ухаживаний, без которых не обходится никто, кому хочется прочистить себе дорогу к серьезной власти.

Фата он в себе не чувствует и по части своего нравственного превосходства. Это слишком очевидно. Ни в уездах, – он знает прекрасно весь личный состав дворян, – ни в городе нет ни чиновника, ни дельца, ни помещика, который сам бы не сказал во всеуслышание:

– Александр Ильич Гаярин у нас первый номер!

О злоязычии, клевете и диффамации он никогда не думал, а теперь способен, менее чем когда-либо, смущаться ими. Он выработал себе такой тон со всеми, что у него не было с тех пор, как он переехал из деревни, – не то что "истории", а даже простого недоразумения. Да и в деревне было то же самое.

Гаярин встал, отряхнулся, прошел в кабинет, позвонил два раза и, остановясь у окна, приложил указательный палец к правой брови: он соображал, приказать ли дворецкому подать после супа марсалы или особенной, привезенной еще из деревни, очень сухой мадеры: "Dix ans de bouteille" ⁴.

V

В гостиной, огромной, жесткой и неудобной комнате, освещенной ярче, чем это делается в провинции в «порядочных» домах, сидел уже гость, когда Александр Ильич отдавал приказание насчет вина.

Лакей, исправляющий должность дворецкого, доложил ему, что приехал губернатор, и прошел к барыне.

Около дивана, где на углу, в молодой и неловкой позе, присела хозяйка, весь ушел в кресло среднего роста старичок, в плохо сшитом сюртуке с генеральскими погонами, немного сутулый, совсем седой. Он запустил бороду, и голова его не имела в себе ничего военного, лысая, с морщинистым черепом умного человека, много имевшего на своем веку болезней, забот и огорчений, голубые, потерявшие блеск глаза, с раздраженными веками, грустно улыбались сквозь поределые ресницы. Тонкий нос книзу темнел, губ не было видно из-под усов. Кожа на щеках лежала продольными складками от худобы.

Он не носил ни шпор, ни штрипок и ноги перекрутил, сидя вбок, с лицом, обращенным больше в угол, чем к хозяйке дома.

– Начинают полегоньку съезжаться, – продолжал он разговор о близости выборов.

У него не было передних зубов; он их не вставлял и давно получил старческий выговор.

– Вы любите, генерал, когда город немного оживляется!

– Еще бы!.. А то даже на вашей, самой бойкой улице, от здания присутственных мест до острога, простым глазом можно сосчитать всех пешеходов и седоков.

Он тихо засмеялся и повел нервно правым плечом, – у него это было род тика.

– А театра так и не будет?

– Так и не будет, – ответил он на ее вопрос почти уныло.

Его обижало за город, что не может здесь установиться постоянного театра, да и скучал он, живя один без семьи, по вечерам. В карты играл он только от скуки, читать по вечерам ему было запрещено. Бумаги читал ему правитель канцелярии.

– И к выборам не будет?

Антонина Сергеевна расспрашивала об этом, чтобы доставить ему удовольствие. У ней совсем не было привычки к зрелищам.

⁴ десятилетней выдержки в бутылке (фр.).

– Предлагало какое-то *société* ⁵, – они так нынче величают свои товарищества, – да, кажется, дрянцо какое-то... Обещали гастролеров, будто бы и Ермолову, и еще кого-то на несколько спектаклей получить... Но субсидию запросили сразу. А наш лорд-мэр и обыватели на это очень крепоньки... В театре полы расшатались давно, да и крыша кое-где течет... Уж, право, и не знаю, – кончил он с усмешкой, – чем мне по вечерам развлекать господ дворян?

Глаза свои он перевел тут же на лицо хозяйки дома, и в них что-то мелькнуло. Он подумал о ее муже, о том, пойдет ли Александр Ильич в предводители.

"Конечно, пойдет", – решил он уже не в первый раз. Он считал Гаярина не на месте. Ему известно было его прошедшее, он чувствовал в нем человека, который осторожно и ловко пробирается вверх. Положение директора частного общества временное. Обыкновенным дельцом Гаярин не будет.

С Антониной Сергеевной губернатор еще никогда не заводил разговора о карьере ее мужа. Его удерживало сложное чувство. В нем притаилась горечь неудачника. В супружеской жизни он был очень несчастен. На месте его забыли, больше пятнадцати лет даже чином не побаловали. А он начинал блистательно, как офицер генерального штаба, был несколько лет военным атташе одного из посольств. В лице Гаярина перед ним вставала личность, созданная для успехов в теперешнее время, он ему не завидовал, но и не преклонялся перед такими людьми. Себя считал он более достойным настоящего уважения. Насколько можно было на административном посту, он старался быть верным тому, что считал, еще молодым человеком, "просвещенным" и "гуманным", полезным для своего отечества.

В жене Гаярина он распознавал нечто родственное себе; но его удерживала деликатность: узнать ее взгляды на карьеру мужа.

С другой стороны, он был бы рад скоротать свой век, имея около себя такой предводительский дом, как Гаярины, находил Александра Ильича самым видным и дельным кандидатом, мечтал о том, что он в предводительше найдет друга, способного оценить его житейские испытания, усладить тяжесть одинокой старости.

От женщин, в смысле корыстного ухаживания, даже и в подчиненных сферах, генерал Варыгин давно уже отказался: "сложил оружие", – говаривал он.

– Выборы у нас будут интересные, – сказал губернатор и повел на особый лад усами.

Антонина Сергеевна не поняла его намека и поглядела на него вопросительно, без всякой задней мысли.

О том, что муж ее пробирается в предводители, она еще ни разу не подумала, как о близком факте. С ней он уже давно не мечтал вслух, не сообщал ей своих планов, избегал всяких разговоров о личных интересах.

– Сословие желают поднять, – продолжал старик и передернул правым плечом. – Что ж, хорошее дело, если только впрок пойдет.

И в глазах, отуманенных годами и горечью жизни, проползла струйка иронии.

– Надежда плохая! – сказала Антонина Сергеевна.

У ней на этот счет взгляды давно установились. Она не любила громко обличать и разносить; но на свое сословие она была точно таких взглядов, как ее муж пятнадцать лет назад, когда он жил в деревне под присмотром.

– Как бы капиталы нового банка не пошли туда же, куда и блаженной памяти выкупные свидетельства.

Она усмехнулась, и ее улыбка ясно говорила: "Можно ли в этом сомневаться?"

Этого умного и простого старика, забытого на губернаторском посту, она считала "своим" человеком, которому только его должность не позволяет высказываться посильнее. И не столько должность, сколько другое время. Лет пятнадцать – двадцать перед тем он, наверное,

⁵ общество (*фр.*).

был менее сдержан. Ему Антонина Сергеевна прощала. Он весь свой век служил, старался быть честным, оставался верен некоторым идеям общественной правды. Чего же больше требовать от него? Было бы печальнее, если бы он либеральничал на словах, а на деле был ретроград и черствый честолюбец или тайный изменник своей присяге.

Ее муж смотрит на него сверху вниз, считает его "запасным", не раз уже проговаривался, что на таком месте, как пост начальника губернии, надо иначе держать себя, иметь другой тон, больше "инициативы" и "авторитета".

Эти фразы странно звучали для нее в устах Александра Ильича. Правда, они выходили у него легко и ловко, кстати и с неуловимым двойственным оттенком. Так мог говорить и радикально мыслящий человек.

– Место предводителя никогда у нас не пустовало, – заметил губернатор и опять кинул на нее боковой взгляд. – А теперь вот второй год пустует.

– Охотники найдутся, – вымолвила она и почувствовала, что он намекает на мужа.

– Александру Ильичу, может быть, хочется, – потише сказал он, – чтобы ему шарики на тарелке поднесли, как в доброе старое время?

– Александру Ильичу? – переспросила она и начала краснеть, ей стало вдруг очень неловко.

Она хотела бы возразить: "Помилуйте, с какой стати пойдет он в предводители даже и теперь, когда хотят поднимать сословие?" Но ее всегдашняя честность не позволила ей такого протеста. Ручаться за него она уже не могла, и это ее смутило и опечалило.

Старичок после своей фразы сидел все в той же перекошенной позе, и ему казалось забавным, что через каких-нибудь пять-шесть недель он будет посылать ее мужу официальные пакеты с надписью: "Его превосходительству господину губернскому предводителю дворянства" и увидит его в соборе, в табельные дни, в белых панталонах с галуном.

Давно ли он, как начальник губернии, должен был давать сведения о помещике такого-то уезда, владельце такого-то имения, проживавшем в своей усадьбе под надзором?... Ему вспомнилось обычное полусутоливое выражение правителя канцелярии, называющего этот отдел сведений, отбираемых от уездного начальства, "конduit".

И в эту минуту в дверях гостиной он увидел стройную, еще очень молодую фигуру Александра Ильича, затянутую в сюртук, с его темною расчесанною бородой, в высоких модных воротничках, с тихой, значительной улыбкой сжатого энергичного рта.

Антонина Сергеевна быстро взглянула на мужа, еще не освободившись от своего смущения, и ее пронизала мысль:

"Да, он метит в предводители и скрывает это от меня!"

– Как поживаете, генерал? – раздался от двери ласково-почтительный вопрос, и две руки протянулись, на ходу, к гостю.

VI

В начале восьмого пили кофе и курили в будуаре хозяйки.

Кроме губернатора, был тут и другой гость, несколько опоздавший к обеду, некто Ахлестин, Степан Алексеич, чином отставной гвардии штаб-ротмистр, холостяк лет под пятьдесят. Плотной стриженной, еще не седая голова его давала ему вид очень нестарого человека – и маленькая бородка, и короткая жакетка, и светлый атласный галстук. Он одевался по-заграничному. В России жил он только по летам; на этот раз запоздал и хотел остаться на выборы. Он уже больше двадцати лет проживал на юге Европы, не служил, не искал службы и досуги свои употреблял на то, что сочинял проекты по вопросам русского государственного хозяйства и управления, задевал и общие социальные темы, печатал брошюры по-французски и по-русски, рассылал их всем "власть имеющим" на Западе и в России. Его считали везде чудачком;

иные думали, что подо всем этим таится нечто другое, чего, в сущности, не было... Он никого не дурачил.

И теперь, за кофеем, Ахлестин, немного запинаясь в речи, высоким голосом, с манерой говорить москвича, на которую жите за границей не повлияло нисколько, рассказывал про то, каким он особам разослал последнюю брошюру: "О возможных судьбах Европы в виду грядущих социальных переворотов и неизбежных войн".

– На Западе двое мне, как порядочные люди, ответили... настоящими письмами, – весело крикнул он. – Остальные... благодарили.

– А сколько вы разослали экземпляров? – спросил губернатор.

– Да уж, ей-богу, не помню... В одной России штук триста. Так по адрес-календарю и валял!

– И, разумеется, у нас все промолчали?

– То есть, pardon, Антонина Сергеевна! – хоть бы плюнул кто.

– Ну, а эти двое европейцев? – возбужденно допрашивал старичок.

Хозяин дома сидел поодаль и неопределенно улыбался.

– Покойник Биконсфильд и дон Педро.

– Император Бразилии?

– Он самый.

– Зато какова парочка!

– Да! Дизраэли даже удивил меня. "Совершенно, – пишет, – согласен с вашим взглядом".

А я насчет Индии предлагаю примирительную систему. "Всем великим нациям, говорю я, будет достаточно дела в тех странах, где они призваны господствовать".

Хозяин продолжал молчать и отхлебывать из маленькой плоской чашки черный, очень крепкий кофе. В глазах его мелькала улыбка. Он слушал гостя и думал полуиронически, полусерьезно о том, какую роль играют у нас проекты и докладные записки там, в Петербурге, где всякий "чинуш" норовит отличиться, бьет тревогу, доказывает неминуемую гибель общества, если не послушают его.

Худощавая, своеобразная фигура Ахлестина выделялась перед ним на фоне кресла, обитого светлою старинною материей. Он часто двигал свободною правою рукой: лицо его смеялось, а в глазах была какая-то смесь мечтательности и юмора с чисто русским оттенком.

"Мне, мол, все равно; я не боюсь ни из чинов, ни из окладов... Пускай на меня свысока смотрят все власть имеющие".

И он тотчас же прибавил, точно возражая кому-нибудь из присутствующих:

– Я ни к какой кучке не принадлежу!.. Одни считают меня ретроградом, чуть не ярым крепостником, другие – тайным нигилистом... Кто-то даже Каталиной обозвал... хе-хе-хе!

Смех у него был высокий, детский. Губернатор тихо рассмеялся вслед за ним.

– Ей-богу! Все личину носят и тянут только в свою сторону, а я так рассуждаю: пусть в моих немудрых писаниях много вздору; но если есть хоть крупица дела на пользу общую и этою крупицею воспользуется кто-нибудь власть имеющий, больше я ничего и не желаю. Надо понять, я стою за поднятие того сословия, в котором родился, только затем, чтобы всем было хорошо, чтобы народ не нес лишних тягостей, не пропился и не избаловался бы в лоск.

– Трудно, – выговорил губернатор, как бы думая про себя, – очень трудно, – протяжно повторил он, – влезть в кожу мужика, в то, что он должен выбить из земли сохой или заступом.

Его добрые, затуманенные глаза обратились к Антонине Сергеевне; она встрепенулась и быстро кивнула ему головой.

Из троих собеседников ему больше всего она верила, к нему была ближе душой. Мужа она совсем не чувствовала сегодня, в этом разговоре, и давно уже не слыхала, чтобы он высказался прямо, смело, как прежде... Его блуждающая улыбка и уклончивая молчаливость смущали и печалили ее.

Во взгляде старичка она прочла признание человека с сердцем, которому долгая губернаторская служба дала отличное знание того, как выбиваются, по уездам, годами накопившиеся недоимки. Она вспомнила, что раз в этом же будуаре он сильно повел правым плечом и у него вырвалось восклицание:

– Вот на это и клади всю душу! Выбивай недоимки!

И с каждым годом все хуже и хуже!

Даже Ахлестин, – она считала его все-таки защитником сословных взглядов, – казался ей искреннее и цельнее Александра Ильича. Она не могла отличить в нем привычки к известного рода дилетантству от убежденности человека, имеющего свои взгляды, способного вдумываться в судьбы всего человечества и своей родины. Брошюр его она не читала.

– Да почему же вы думаете, генерал, – вдруг еще веселее заговорил Ахлестин, – что я не проходил через настоящую мужицкую работу?.. И очень! Позвольте вам рассказать один такой эксперимент. Давненько это было. Я уже вышел в отставку и гостил у тетки, в деревне... Знаете, тогдашней модой насчет хождения в народ я не зашибался.

Эту фразу он сказал просто, между прочим, но Антонину Сергеевну кольнуло, и она не могла не взглянуть в сторону мужа. Тот сидел с неподвижным лицом и с той же усмешкой на тонких губах.

"Он даже забыл про это, – с горечью подумала она, – или уже привык носить маску?"

– Нет, не зашибался, – повторил рассказчик. – А с мужиками ладил, ничего. Ну, и времени много было свободного. У тетки копали пруд. И плотину надо было соорудить здоровую... А главное, копать... Пришли землекопы... Артель человек в восемь – десять. Я с ними в знакомство вступил... "Тары-бары... Хорош табачок"... Хожу, посматриваю, как они действуют... И, знаете, на третий, кажется, день разобрала меня охота... Отчего мне не поработать?.. Только чтобы до конца довести вместе с ними...

– И выдержали? – с живостью спросил губернатор.

– И выдержал! Пиджак и штiblеты с себя снимал, даже волосы ремешком пристегнул... Вставал с петухами, ел с рабочими из одной чашки, – еще пост Петровский пришелся, – хлеб, лук, каша с конопляным маслом, тюря... Отлично!.. И поверите, когда к концу первой недели перестало в пояснице ныть и руки я достаточно намозолил, – такое, я вам скажу, душевное настроение... Никогда в жизни ничего подобного не испытывал! Ей-богу!.. Это что-то совсем особенное... Одна забота, одна мысль – вот этот пласт земли уничтожить, а потом третий... И верх благополучия – все выкопать, плотину утрамбовать в наилучшем виде и воды напустить!..

– Так уж это помещичье чувство! – перебил губернатор.

– Ни Боже мой!.. Я все забывал: кто я, где живу... что барин я, гвардии штаб-ротмистр, племянник помещицы... Мало того, всякие дела там, в Европе!.. В то время Испания в ходу была... Королева Изабелла, генерал Прим, кортесы, потом претенденты на престол... Все это вдруг показалось мне такою пустяковинкой! Работа!.. Одна работа!.. Вот какая притча!

– И вы уверены, что и землекопы так же чувствовали? – не сдавался губернатор.

– Непременно! Нельзя иначе чувствовать, когда работа держит вас в своих клещах!.. Лучшего душевного настроения нет и быть не может!

– Однако вы в нем не остались?

– Это уже другой вопрос, ваше превосходительство! Всякому свое... Что вы, Александр Ильич, на это скажете?

– А скажу то, что надо через это пройти, но не затем, чтобы забывать обо всем другом...

"О чем?" – стремительно спросила про себя Антонина Сергеевна и сдержала желание посмотреть на мужа.

Ахлестин начал уже прощаться, торопливо, точно он опоздал куда. Его удерживали. Он объявил, что должен в Москву, с вечерним поездом, и, уходя, в дверях сделал дурачливую мину и сказал:

– Все корректура донимает. Приятелям нельзя поручить, наврут!

Хозяин пошел его провожать. Губернатор перешел со своего кресла на диван, поближе к Антонине Сергеевне.

VII

Александр Ильич вернулся очень быстро, в дверях остановился немного и оглянул и гостя и жену.

– Уехал? – спросил его губернатор и вытянул ноги. – Господин реформатор?

Слово "реформатор" произнес он с заметной улыбкой.

– Да, реформатор, – повторил Гаярин и сел опять на свое место, в той же позе, с тем же лицом, и взял опять со столика недопитую чашку.

– Эдакие-то не опасны, – продолжал губернатор и повел слегка плечом, – по крайней мере, ничего не хотят истреблять и ни подо что тайно не подкапываются!.. Рассылают свои писания во все концы света.

– Как сказать? – заговорил, наконец, Гаярин и выпрямился. – Эта игра в спасители человечества только подрывает кредит тех, кто действительно хотел бы вложить свою лепту в общее дело.

Эту фразу произнес он с остановками, ища слов, чего с ним не бывало никогда. Точно будто ему не хотелось ни в каком смысле высказываться в присутствии своей жены.

Антонина Сергеевна так это и поняла и продолжала сидеть в неловкой позе, с опущенными глазами. Она с радостью взяла бы папиросу и закурила, но муж ее, с некоторых пор, не любит, чтобы она курила, особенно при гостях.

– Эх, Александр Ильич, кто у нас читает?.. Ведь он сам же сейчас говорил, что ему ни единая душа не ответила из трехсот человек, которые значатся в адрес-календаре.

– Что ж, он все-таки живет для идеи и верен себе, – с внезапным блеском в глазах сказала Антонина Сергеевна и повернула голову в сторону мужа.

Она не могла сдержать в себе начала какой-то, совсем новой тревоги, потребности проявить вот сейчас свою личность, заставить мужа бросить уклончивый тон и начать высказываться откровеннее... Минута казалась ей самой подходящей. Губернатор поможет ей в этом направлением разговора.

– Таких реформаторов, – продолжал старичок, – я бы не променял на тех господ, которые проживают у меня на попечении.

Он оглянулся на Антонину Сергеевну. Намек его она тотчас же поняла.

В городе находилось несколько человек, присланных на житье. Одни попали прямо из столицы, другие из дальних губерний, двое из-за Урала. Ими Антонина Сергеевна интересовалась постоянно. Между ними было два писателя-беллетриста и сотрудник толстых журналов по философским вопросам Ихменьев. Он был вхож в их дом или, лучше, она с ним познакомилась и принимала у себя... Александр Ильич позднее узнал об этом от нее, но сам не пожелал поближе сойтись с Ихменьевым. Она помнит и чуть приметную гримасу, с которой он сказал ей:

– Смотри, Нина, эти господа непременно будут просить о чем-нибудь нелегальном и впутают в истории...

И тотчас же удалился, оставив ее под впечатлением этой фразы.

– Разве они подводят вас... под неприятности? – спросила Антонина Сергеевна, и легкая дрожь прошла у ней внутри, хотя в комнате было не меньше пятнадцати градусов.

Она чего-то ждала и на что-то напрашивалась.

– Подводят-с, – выговорил с полукомическим вздохом старик и опять принял свою изломанную позу. – Кажется, я крутым надзором никогда не отличался...

Александр Ильич сделал кивок головой в знак согласия.

– Прежде и нам было поудобнее... И нас меньше беспокоили... да и народ другой был... А наш город, хотя он и к центру империи принадлежит, сделали дурную привычку, там, – он повел рукой, – избирать местом более легкого изгнания, вроде какого-то чистилища... Прежде каждого из этих господ определить было не так трудно... А теперь, Бог его знает, что у него там, под его долгою гривой, в мозгу шевелится. Проживает-то он на моем попечении за одно, а, может, высиживает в себе совсем другое... и вместо того, чтобы пользоваться своим житьем в городе, откуда ему разрешается и в Москву съездить иной раз, и в Петербург, он продолжает сношения с самым, уже что ни на есть, нелегальным народом в России и за границей! А губернатору нахлобучка, да, нахлобучка!.. Хе-хе!

Все это было выговорено шутя: ни старицовой горечи, ни чиновничьей строгости не слышалось в тоне. Антонина Сергеевна схватила взгляд мужа. Его острые глаза отливали стальным блеском, точно говорили:

"Сам ты, старичок, виноват... Слишком долго любил драпироваться в либерализм, читал запрещенные книги, потакал всяким, явно нелегальным попущениям, заигрывал со всем этим народом, ждал от них выдачи себе похвального листа за гражданские чувства. Вот теперь и кусай локти".

Она прочла все это в его красивых глазах с отблеском стали, в которых, когда-то, видела другой огонь – порываний и сочувствий, отошедших куда-то в глухую темь.

– Удивляюсь, – начал вдруг Александр Ильич и поставил чашку на столик, – удивляюсь я одному: как у этих господ нет профессиональной честности! А ведь это, – подчеркнул он, – превратилось как бы в профессию... Я иду напролом, умышляю против известного порядка вещей, сознательно призываю на себя неизбежное возмездие, неизбежное, – повторял он с оттяжкой, – в каждом правильно организованном государстве, и потом возмущаюсь последствиями моих деяний, хитрю, пускаюсь на мелкие обманы, не хочу отбыть срока своего наказания, как порядочный человек, понимающий смысл народной поговорки: люби кататься, люби и саночки возить!

Он еще что-то хотел сказать, но оборвал свою речь. Антонина Сергеевна быстро взглянула на него, и, должно быть, этот взгляд помешал ему закончить.

Нервная дрожь не проходила в ней. Она сама чувствовала, что должна быть бледна. Ей захотелось возразить, сразу поставить что-то ребром.

Но губернатор встал и пошел в другой конец комнаты за фуражкой.

– Это верно, профессиональной честности не хватает! – выговорил он. – Интересная тема, Антонина Сергеевна, не правда ли? И ваше мнение желательно бы выслушать, да я уже засиделся... У меня сегодня комиссия... и скучнейшая. Что делать!.. Как это по-латыни? *Caveant consules?*⁶ Так, кажется, Александр Ильич? На своем посту все надо быть. Он подошел к хозяйке и взял ее руку.

– Позволите? – спросил он тоном военного. – Ваш супруг пока еще вольный гражданин. Днем посидит там, в правлении, а вечером... не знает никаких комитетов и комиссий, и подписывания исходящих. Дайте срок! Мы и его впряжем.

Антонина Сергеевна спросила его глазами: "Во что впряжете?"

– И вы у нас будете скоро штатскою генеральшей... Ведь вы с мужем вашим занимаете исторический дом... Здесь испокон веку жили губернские предводители. Много было тут пропито и проедено, проиграно в карты... Пляс был большой... и всякое дворянское благодушие.

⁶ Пусть консулы будут бдительны? (лат.).

Пора немножко и стариной тряхнуть... И вам пора, Антонина Сергеевна, принять над нами власть. Вы у нас первая дама в городе, недостает только официального титула.

Он еще раз поцеловал ей руку и молодцевато повернулся в сторону мужа.

Александр Ильич стоял ближе к ней. На его лице она ничего не прочла, но вся фигура его говорила:

"Да, мне пора в губернские предводители. Я это знаю, и мне должны поднести шары на блюде".

– Так ли? – спросил его, уходя, губернатор.

– Я не судья, – ответил Гаярин и с жестом почтительной ласки слегка взял старика за плечо и пошел с ним в гостиную.

"Не судья... – повторила мысленно Антонина Сергеевна, вся охваченная возрастающим чувством, которому она должна была дать ход, – не судья... в своем деле? Все этого хотят! Значит, ты все сам подготовил и ждешь первой ступени туда, где в тебе умрет прежний Гаярин!"

VIII

В передней Александр Ильич сказал еще несколько лестных слов гостю и, на прощанье, посоветовал поднять воротник шинели.

– Ветер резкий, берегитесь, генерал.

Ему сначала не захотелось возвращаться к жене. Он не желал проводить вечер дома, с глазу на глаз, или одному, у себя в кабинете, за первую попавшуюся книжкой. Давно Александр Ильич не читал жене вслух, как бывало в деревне, длинными осенними и зимними вечерами, когда он усиленно развивал ее в первые годы их брачной жизни. Читал он ей на четырех языках, и на всех одинаково хорошо. У него была даже страстишка к красивому чтению, и одно время он считал себя декламатором. Тогда прочитывались целые тома Спенсера, Мишле, популярных немецких сочинений по естествознанию, "Мизерабли" Гюго, английские радикальные журналы, всего чаще "Fortnightly Review", книги Джона Морлея, Ренана, Кине и социальных писателей сороковых годов, романы Джорджа Эллиота и Ямбы Барбье... Все тогда шло впрок...

Теперь охоты нет, а если бы он что и прочел ей, то не из прежних авторов и не с тою целью.

Лучше он поедет сегодня в клуб... Начинают съезжаться дворяне. Надо почаще показываться. Может быть, он сыграет роббера три с кем-нибудь из уездных предводителей. И губернатор из своей комиссии, наверное, заедет в клуб съесть по своей привычке порцию холодной ветчины и немножко повинтить, а то так просто посидеть около играющих.

В клуб надо поехать!.. Но это еще успеется. Он подавил в себе малодушное, на его взгляд, нежелание вернуться к жене и пошел более решительным шагом через гостиную.

Разговор о господах, находящихся, как выражался губернатор, на его "попечении", подсказал ему решение дать Антонине Сергеевне добрый совет уклониться от дальнейшего знакомства "с господином Ихменьевым", – выговорил он про себя и с особым движением своего красивого рта. Лучше сделать это сейчас, а не откладывать на завтра.

– Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute ⁷, – произнес он вполголоса, проходя через опустевшую гостиную.

Вид этой комнаты показался ему донельзя тусклым и бедным. Надо ее заново отделать. И, вообще, оживить эти просторные барские хоромы, сделать дом открытым. Это будет необходимо с переменой положения. Да и пора прекратить теперешний странный образ жизни...

⁷ Завтра, завтра, не сегодня – так лентяи говорят (немецкая поговорка).

Точно они какие-то поднадзорные... или люди опасного образа мыслей, не желающие сближаться с городом.

Все это идет от Антонины Сергеевны. Она не любит, в сущности, ни женского, ни мужского общества. До сих пор она, точно у себя в усадьбе, читает книги, пишет бесконечные письма, мечтает Бог знает о чем, не хочет заняться своим туалетом, играть в городе роль, отвечающую положению мужа.

Впервые Гаярин испытывал особое раздражение против жены, не похожее на ту сдержанную уклончивость, с которой он вел с ней постоянную борьбу, переделывая ее на новый лад.

– Нина, ты здесь? – окликнул он в будуаре из-за портьеры.

– Здесь, – ответила она из-за перегородки, куда ушла переменить туалет, надеть свой любимый фланелевый капотик полосками.

– Et la femme de chambre est là?

– Je suis seule ⁸.

В ответе жены Александру Ильичу послышалось нечто новое. Не было неизменной прибавки "mon ami" или "мой друг", без которой она никогда не обращалась к нему.

Это его поставило настороже, но не изменило его решения – поговорить с женой на щекотливую тему.

– Ты легла?

– Нет, я сейчас переоденусь.

И это ему не очень-то понравилось. Может кто-нибудь приехать невзначай, а хозяйка дома в халате. Никогда, так ему казалось теперь, не поощрял он ее к этой русско-деревенской распушенности. Она опрятно себя держит, но никакой заботы об изяществе, о красивых деталях туалета, преувеличенная склонность к своего рода мундиру скромности и радикализма.

Слово "радикализм" он очень отчетливо произнес про себя, и взгляд его со стальным отблеском остановился на портьере перегородки. Даже и это ему не нравилось, что жена его спала в той же комнате, где и сидела целые дни, где и принимала иногда гостей.

Да, она в своем фланелевом халатике, который старил ее на десять лет, и даже сняла кружево с головы. От этого седина гораздо больше стала серебриться и на висках, и на темени.

К своей жене он, как мужчина, начал незаметно охладевать в последние пять лет, но никогда не разбирал своего чувства к ней, не возмущался, не жаловался ни самому себе, ни в дружеской беседе. Да у него и не было друга... Он принимал это как неизбежность "эволюции" супружеской связи, и свою честность, то, что не обзавелся любовницей, считал он высшим доказательством уважения к женщине, от нее не требовал никаких порывов и желал подтянуть ее в туалете вовсе не за тем, чтобы подогреть свое чувство к ней.

Всего сильнее избегал он поводов к "восторженности" – тоже новое для него слово в оценке характера Антонины Сергеевны и их взаимных отношений. Следовало бы и сегодня отклонить опасность щекотливого разговора, но он надеялся выйти из него без всякого "психического осложнения".

– Tu as à me parler? ⁹ – спросила Антонина Сергеевна все еще из-за перегородки и опять как бы не своим тоном.

По-французски она не любила говорить с глазу на глаз и вообще неохотно вела разговор на этом языке, между тем как Александр Ильич, с переезда в город, стал приобретать привычку, которую двадцать лет назад считал "нелепою" и даже "постыдною".

– Oui, chérie ¹⁰.

⁸ И горничная здесь? Я одна (фр.).

⁹ Ты хочешь со мной поговорить? (фр.).

¹⁰ Да, милая (фр.).

Слово "chérie" было выговорено им сладковато, более тонким голосом. Этот звук действовал на нее с некоторых пор, точно кто проводит при ней ногтем по глянцевитой бумаге.

– Сейчас! – откликнулась она уже по-русски.

Он сел к столику и вбок взглянул на несколько писем, лежавших тут адресами вверх. Зрение у него было превосходное, и он схватил глазами адрес кузины Антонины Сергеевны, княгини Мухоморовой.

"Излияния, – подумал он, – и кисло-сладкие сетования на что-то".

Вслед за тем он поправил сюртук и выпрямился. К объяснению он приготовился вполне.

Он не сразу заметил, что она стоит позади в портьере перегородки, оправляет воротник ночной кофты, обшитой кружевом, в фланелевом полосатом халатике и смотрит возбужденно, с блуждающею, немного жалобною улыбкой и давно небывалым острым блеском в ее добрых, мечтательных глазах.

Никогда она еще так не глядела на него, на эту умную, красивую голову, с лоснящимися волосами и слегка редющей маковкой, на стройную, очень молодую фигуру, на значительный тонкий профиль барского лица, и не влюбленными глазами глядела она.

В первый раз заползло в ее душу настоящее чувство тяжелой неловкости, назойливой, властной потребности убедиться: тот ли это человек, за которым она кинулась из родительского дома, как за героем, за праведником, перед которым стояла на коленях долгие годы, или ей его подменили, и между ними уже стена, если не хуже, если не овраг, обсыпавшийся незаметно и перешедший в глубокую пропасть?

Припомнилось все ее собственное поведение за последние три-четыре года, когда она из влюбленности к нему, по ослеплению и дряблости натуры, поддавалась ему во всем, делалась добровольно участницей в его ренегатстве.

"Да, ренегатство", – шептали беззвучно ее губы еще до его прихода, когда она за перегородкой, у постели, застегивала вздрагивающими пальцами пуговицы своего пеньюара.

И в эту минуту в ее взгляде сидел страшный вопрос: того ли человека найдет она в своем красавце герое, в Александре Ильиче Гаярине, пострадавшем за свои убеждения и симпатии, или кандидата в губернские предводители, честолюбца, карьериста, готового завтра же надеть ливрею и красоваться в ней?

Александр Ильич, оправляя свой шитый у француза сюртук, никак не предчувствовал, что его жена готовит ему такой допрос... Он уже был заранее убежден, что его дипломатии хватит на то, чтобы не дать Антонине Сергеевне и повода протестовать или возмущаться.

– Это ты? – спросил он ее, не поворачивая головы и даже глаз.

– Это я, – вздрагивающим звуком ответила она.

IX

Он тогда быстро повернул к ней голову и прошелся взглядом по всей ее фигуре, как будто что-то неладное почуялось ему.

– Tu as la migraine? ¹¹ – спросил он ее больше тоном беспокойства, чем заботы.

– Я совершенно здорова, – сказала отрывисто Антонина Сергеевна.

Муж ее сейчас догадался, что она не желает говорить по-французски. В таких пустяках можно было уступить ей. Но уклоняться от темы разговора он не хотел.

¹¹ У тебя мигрень? (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.